

Виктор Маргерит

Моника Лербье



Виктор Маргерит
Моника Лербье

«Public Domain»

1922

Маргерит В.

Моника Лербье / В. Маргерит — «Public Domain», 1922

«Моника Лербье позвонила. – Марьетта, – обратилась она к горничной, – манто! – Какое, мадемуазель? – Голубое. И новую шляпу. – Принести сюда? – Нет, приготовьте в моей комнате...»

Содержание

От автора	8
Часть первая	10
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Виктор Маргерит Моника Лербье

После появления в «Бюллетене законов» подписанного 1-го января президентом Республики декрета, исключаящего Виктора Маргерита из списков ордена Почетного Легиона, он направил в Большую канцелярию ордена следующее письмо.

«3 января 1923 года.

*Господам членам Совета Ордена Почетного Легиона.
Милостивые государи!*

Благодарю вас за честь, которую, по авторитетному суждению Анатоля Франса, делает мне направленное против меня обвинение. Итак, отныне все писатели – кавалеры ордена – должны подчиняться силе оружия и дисциплине. Они будут знать теперь, какие последствия влечет за собою свобода мысли – мертвой, если она лишена права высказываться полностью в пределах и под покровительством закона. Напрасно под угодливые аплодисменты немногих и при негодовании общественного мнения (о том свидетельствуют отзывы, получаемые мною со всех сторон) воскрешаете вы литературную цензуру.

Когда бы над миром нависла война, с ее железными законами, мера эта могла быть оправдана требованиями национальной дисциплины. Но она неприемлема в мирное время, и в ней, несомненно, отразится все профессиональное соперничество... Принимая ее, во главе с известным своим послушанием генералом, вы оказались лишь политическими судьями... И пристрастными! Ибо многие из вас, осудивших меня, не читали моих произведений. Ваши поиски предлогов к моему обвинению свелись только к одному: несколько сцен в романе – слишком реалистических – показались вашему Командору оскорбляющими общественную нравственность. Не искусство, по вашим словам, руководило мною в их создании, а иные цели – цели наживы, и они вам кажутся доказанными шумной рекламой. Как будто вам неизвестно, что право коммерческого использования произведения принадлежит купившему его издателю и что за мною стоят сорок книг – свидетели моего бескорыстия!

И это все? Нет. Мне ставят в вину еще ущерб, который я наносу нашей стране за границей, клевета на французскую женщину. Тогда как все мои произведения – и даже героиня последнего из них, со всеми ее печальными заблуждениями – лишь выявляют ее основные добродетели!

Жалкий предлог. Мне не могут простить детального описания нравов высшего французского общества. А также обличения, на следующий день после войны, виновников наших первоначальных поражений. Новый моральный уклад карает в моем лице не только беллетриста-социолога, но и историка – автора книги «На краю пропасти».

Я не добивался ни одной из почестей, которые до 1914 года выпадали на мою долю. И, как уже говорил вам, принимал их лишь потому, что они способствовали в дальнейшем более свободному развитию моих идей. С тех пор миллион семьсот тысяч человек пали в боях и, умирая, верили, что они истребляют войну и своей жертвой ускоряют наступление новой эры. А в мире ничего не изменилось. Наряду с вереницей героев,

кровью своей окрасивших носимое ими отличие, ваш Легион пополнился рекрутами, о которых наиболее мягко можно сказать, что соседство с ними компрометирует.

Первым шлю я мой почтительный привет и с глубоким облегчением расстаюсь со вторыми. Раз и навсегда я кладу в ящик с реликвиями эту ленточку, из-за которой пролилось столько желчи и чернил. Там она будет покоиться рядом с другой, которой тоже суждено однажды, вместе с прочими отечественными реликвиями, обогатить собой Музей Армии.

Я мог бы обратиться с кассационной жалобой в Государственный Совет, не сомневаясь, что во Франции можно еще найти защиту от беззакония и пристрастия у судей, стоящих выше предубеждений и вражды.

Но я не хочу оспаривать у вас игрушку, которую ваш синклит раздает по мере правительственных перемен или по достижении старшинства и которую вы отняли у меня за проступок против вашей чести.

Комизм поступка, разумеется, остается за вами. А я возвращаюсь к труду с верой в целительное будущее и с полным и гордым сознанием, что никогда не погрешил ни против человеческого долга, ни против писательской честности.

Виктор Маргерит».

Открытое письмо Анатоля Франса Почетному Легиону.

«Милостивые государи!

Позвольте мне весьма почтительно представить вам те опасности, которым вы подверглись бы, берясь разрешать вопрос, который в действительности может быть разрешен лишь общественной совестью при нейтрализующем действии времени.

Подобные вопросы уже возникали перед различными судилищами, и юстиции не пришлось поздравить себя с вмешательством в них. Два шедевра, украшающие Францию и восхищающие мир, – «Мадам Бовари» и «Цветы Зла» – подверглись преследованию. Благородный поэт, гордость Французской Академии Жан Ришпен был осужден за произведение, которым восторгается теперь все читающее человечество. Наученный этими примерами и руководимый вашей мудростью, пусть суд ваш, милостивые государи, не прибавляет «La garçonne» к данному списку книг, ставших теперь вечным осуждением для тех же судей, которые осудили их появление.

Господа, как Виктор Маргерит, известный многочисленными произведениями, свидетельствующими о его возвышенном таланте и строгой нравственности, мог бы вдруг стать автором недостойной книги? Этого не может быть и этого нет. В этой книге, вызвавшей столько притворной ярости, мы находим те же великодушные идеи, коими всегда вдохновлялся ее автор. Судите о ней по сюжету: молодая девушка, богато одаренная и с энергичным характером, совершенно справедливо относится к миру отрицательно. Вследствие заблуждения, нисколько не одобряемого Виктором Маргеритом, эта отчаявшаяся молодая девушка предается порокам, по существу совершенно чуждым ее духовному складу. После нескольких лет, полных ошибок, которые она сама слишком мало любит, чтобы заставить полюбить их других, Моника возвращается к честной и

добропорядочной жизни и находит в ней душевный покой и удовлетворение, которых так тщетно искала в других сферах. Вот в сущности фабула романа. Она добродетельна, и, может быть, многие авторы, кричащие сейчас от негодования, в своих произведениях развивают гораздо менее нравственные темы.

По правде говоря, лишь некоторые детали разбираемого романа вызвали, как я слышу, возмущение. Было бы удивительным, если бы писатель, так совершенно владеющий формой, как Виктор Маргерит, вдруг утратил это мастерство. Не забываются ли здесь, к его невыгоде, права искусства, права свободной мысли и требование сюжета, трактующего среду, подобной которой не было во Франции никогда? Виктор Маргерит описал в «Монике Лербье» общество, порожденное войной. Он показал, до каких неслыханных пределов дошла развращенность этих новых богачей. Весь мир это знает, ибо в те бесстыдные времена разврат разлился даже по улицам. Но, по моему убеждению, художник в своих картинах остался далеко позади действительности. Неизмеримые бедствия долгой войны породили омерзительные нравы, которые моралист обязан был осветить. Маргерит это сделал с чувством меры, обличающим в нем человека тонкого художественного вкуса. Прежде чем его осуждать, посмотрите, какими мощными штрихами обрисовал в свое время Д'Обиньи тех, кого он назвал «гермафродитами», и Ювенала ли нужно упрекать в неистовствах Мессалины?

Ах, господа! Вы имеете счастье жить в сферах безмятежного покоя и потому не могли проследить развитие зависти и злобы, санкционирования которых от вас требуют.

В ваших интересах я прошу вас не делать того, чего вам делать не надлежит. Воздержитесь от суда, неизмеримо превосходящего вашу компетенцию.

Вот, господа, те замечания, которые я счел возможным почтительно вам изложить, пользуясь привилегиями моего возраста и трудами, наполнявшими мою жизнь.

*Примите, милостивые государи...
Анатоль Франс».*

От автора

- Предисловие?
- Послесловие, если хотите.
- Три месяца спустя после выхода книги?!

– О, да! Время, за которое «дорогими собратьями» разлито повсюду столько яда. Взрыв бомбы несколько задержался, и она взорвалась только после шумного, оскорбительного для них успеха. Время также заглушило хор более или менее деланного возмущения, лицемерия, политической и клерикальной вражды, что встретили эту книгу, тридцать седьмую по счету, которую я имею честь подписывать, книгу, в которой некоторые доброжелатели упорно хотели видеть лишь замысел порнографа, пишущего ради наживы. Обвинение классическое, его не избег и Золя.

– Но если по той или иной причине недостаточно понятно было то, что вы хотели высказать, так не лежит ли часть вины в этом на вас самих?

– Несомненно. Хотя я совершенно не берусь оспаривать некоторые предвзятые мнения! Но мне, быть может, следовало предупредить торопливого читателя каким-либо предисловием. Лихорадочный темп, разбросанность повседневно существующих исключают сосредоточенное размышление, без которого не может сформироваться никакого мотивированного суждения. Теперь больше не читают, а пробегают. Летят со страницы на страницу! Сто верст в час. Так позвольте, дорогой читатель, чтобы на экране появилось несколько дополнительных пояснений.

Прежде всего я, как и вы, отлично знаю, что у нас есть прекрасные матери и дочери – целый женский мир, интенсивно трудящийся, страдающий.

Я уже описывал его и буду еще описывать.

Следует ли лишний раз подтверждать, что я никогда не имел намерения выставить Моника Лербье как совершенный тип французской молодой девушки и молодой женщины? И виноват ли я в обобщениях враждебных критиков? Нет. Я просто зарисовал – вместе с тем мелким миром алчности и тщеславия, который принято называть «большим светом» (может быть, потому, что он, уввы, до сих пор законодательствует в мире!), – несколько типов тех эмансипированных женщин, размножение которых во всех странах ускорила война. Но, с другой стороны, я совершенно сознательно поместил свою героиню в ту среду разврата и наживы, которую мы наблюдаем в Париже, потому что этот микрокосм наиболее показательен для совершенного упадка нравов, или – если хотите – нравственного разложения.

– Пусть так! Но какая была необходимость детально выписывать картины падения и порока? – спросят меня. – Это дает повод говорить, что вы их смакуете.

– Так будут говорить или злословить?

Художник нравов не только имеет право, но он обязан освещать зрелища худшего разврата, вызывая в читателях то же отвращение, что появилось у Моника. Знаю, существует возражение: во всякой опасности есть великий притягивающий соблазн – искушает только уже испытанный порок, только испытанное зло. Я отвечаю: если зло существует, то лучше его разоблачать, чем скрывать. Облик его оттолкнет заранее всякую нормальную молодую душу. Это маяк над утесом.

Моника, пережив весь ужас мрачных наслаждений, в здоровом порыве устремилась к нормальному счастью. Она – пример, ограждающий других.

Но мне опять могут возразить:

– Разве, оставаясь бедной и чистой, ваша героиня не успешнее бы доказала своим трудовым существованием то право на независимость, которое ежедневно завоевывают другие «холостячки», менее одаренные и счастливые в жизни и более мужественные?

– Это верно. Но повторяю: я с заранее обдуманном намерением сделал ее дочерью богатых родителей и богатой саму по себе. Почему? А потому, что ее деньги, как и ее воспитание, были одним из условий ее падения. Менее подготовленная к облагораживающему труду, чем ее сестры из рабочего класса или мелкой буржуазии, она падает первой жертвой свободы, добытой революционным путем.

Отсюда мораль: так называемому правящему классу надо лучше воспитывать своих дочерей. А особенно своих сыновей. Это единственный путь эволюции. В самом деле, что такое революция моральная, политическая или социальная? Я это уже говорил. Реакция энергии против гнета несправедливых правящих сил. Женщина, пленница в течение веков, рабыня, привыкшая к покорности и сумраку тюрьмы, пошатнется на пороге внезапно открывшейся двери, ослепленная светом свободы. Последствия неожиданного освобождения – налицо... Винить ли ее за это? Со стороны мужчины это было бы прямой недобросовестностью. Независимость такая же привычка, как и все остальное. К ней приспособляются лишь постепенно... Что такое прогресс? Вечная школа!

Что касается реализма моей манеры письма, то я утверждаю, что она на один или даже на несколько тонов скромнее истины. Мы далеки от тех времен, когда Флобера преследовали за смелость «Мадам Бовари» – этого самого нравственного, пожалуй, романа последнего столетия, – и далеки также от скандала, который вызвали героини Золя. Чем будет, лет через двадцать, Моника Лербье в глазах тех эмансипированных девушек, которых обещает нам дать поколение «дансингов»?

Если падение нравов будет прогрессировать, я жалею того романиста, которому суждено с моей искренностью описывать будущую буржуазию. Истина! Она шокирует всегда, и ее наготы многие не могут вынести. Предпочитают натягивать перчатки на грязные руки! Вивисекция жизни отталкивает. Натурализм вышел из моды. Да здравствует неоклассицизм! Все юношество живет утонченно, вплоть до онанизма и противоестественных наклонностей. Но это не мешает нашим авторам закрывать общественные язвы нарядным, чистеньким бельем. Немного патриотически-семейного сиропа, смесь из набивших оскомину приключений – и в результате самодовольный снобизм!.. Повторяю: я стою за беспощадный хирургический нож... Безнравственны не слова, а нравы. Вместо того, чтобы набрасывать на порок одежду Ноя – которая слишком часто оказывается покрывалом Арсиноя, – введем в обычай и в закон нашим девушкам и матерям (включая и матерей-девушек) все те свободы, на которые мужчины нелепо и деспотически стремятся сохранить монопольное право. И сразу станет меньше распущенности.

Инстинкты благоразумия, доброты, верности, жажда справедливости, врожденные для большинства женских душ, расцветут тогда, без ненужных терний, к величайшему благу для половой морали, неотделимой от морали общечеловеческой.

Резюмирую: я разоблачил опасность. Я указал по ту сторону пропасти на широкий путь равенства, эквивалентности (если этот термин вы сочтете более подходящим), по которому оба пола непременно когда-нибудь пойдут, согласованно, рука об руку. «Моника Лербье» только этап на неизбежном пути феминизма к прекрасному, ожидающему его будущему. В следующем своем романе я попытаюсь его обрисовать, будучи убежден – вместе с одним из персонажей настоящей книги, – что нельзя судить о грядущем на основании лишь какой-либо одной из сторон настоящего и что «в самой анархии вырабатывается новый порядок вещей».

В. М.

15 октября 1922 года.

Часть первая

Моника Лербье позвонила.

– Марьетта, – обратилась она к горничной, – манто!

– Какое, мадемуазель?

– Голубое. И новую шляпу.

– Принести сюда?

– Нет, приготовьте в моей комнате...

Моника вздохнула. Какая мука этот благотворительный базар, если она не встретит там Люсьена! Так хорошо было бы с ним в маленькой гостиной.

Моника опускает голову на подушки канапе и снова предается воспоминаниям.

Ей пять лет... Сейчас она сядет обедать за крошечным столиком в детской с Мадемуазель – ежедневной руководительницей всей ее жизни.

Но сегодня вечером Мадемуазель свободна, и ее заменяет тетя Сильвестра.

Моника обожает тетю Сильвестру.

Прежде всего потому, что они обе не похожи на других. Другие – это женщины. Даже Мадемуазель. Но мама ей сказала:

– Я буду вас звать «Мадемуазель», хотя вы и вдова... не правда ли? Гувернанток всегда называют «Мадемуазель». Тетя же Сильвестра и Моника – просто две девочки. Моника, хотя и считает себя иногда взрослой, – маленькая девочка, а тетя – старая девочка.

Старенькая-старенькая... У нее лицо, как печеное яблочко, а из бородавки на подбородке торчат три волоска.

Тетя Сильвестра каждый раз привозит из Гиера черную медовую нугу с миндалем.

Где это Гиер? Что это такое?

Нуегес – это все равно что Nier¹, – размышляет Моника, – значит, ужасно далеко для человека, который знает еще только одно «сегодня». А сегодня праздник – папа с мамой поедут в оперу, а потом их пригласили в ресторан. Опера – это дворец, где танцуют под музыку феи, а ресторан – такой зал, где кушают устриц. Там бывают только взрослые, говорит тетя Сильвестра... Но вот и одна из фей... Ах, нет, это мама в декольтированном платье с белым пером в волосах, и вся она точно в жемчужном покрывале.

Моника в восхищении прикасается к нему пальчиками.

Да, настоящие жемчужинки. Вот бы ей ниточку таких!

Она ласкает шею мамы, которая поспешно наклоняется, чтобы сказать «до свидания».

– Ах, пожалуйста, без поцелуев, я и так покраснела, – говорит она с досадой.

Ручонки тянутся к маминым бархатным щечкам, но она недовольно повторяет:

– Будет, ты сотрешь мне всю пудру!

Сзади стоит папа, весь в черном. Жилет у него смешно вырезан на блестящем картоне рубашки.

Мама рассказывает тете Сильвестре какую-то длинную историю. Та слушает, улыбаясь.

Папа сердится и топает ногами:

– С вашей манией по три часа подкрашиваться и шлифовать ногти мы опоздаем к увертюре.

К какой увертюре? Будут открывать устриц?

Должно быть, нет...

¹ Вчера (франц.)

Когда папа с мамой уезжают, не поцеловав ее на прощанье, Моника спрашивает тетю Сильвестру со сжавшимся сердечком:

– Тетя, что такое увертюра? Музыка тоже открывается? Как устрицы? Но как же это делается?

И мечтательно ждет ответа.

Тетя Сильвестра берет девочку на колени и, лаская, объясняет: музыка – это песенка, которую в мире поют все, особенно счастливые... ветерок ее насвистывает над морскими волнами... музыкальные инструменты повторяют ее в концертах. А увертюра – это что-то вроде огромного окна в небе, чтобы ее можно было слушать и оттуда.

– Ты понимаешь?

Моника нежно смотрит на тетю Сильвестру и кивает головкой: да...

Монике восемь лет, она тянется вверх, как стебелек, и часто покашливает. Потому Мадемуазель (это уже не вдова, а дама из Люксембурга с красными и твердыми, словно мячики, щеками, которая ее ни капельки не любит) не позволяет Монике шлепать босиком по морскому берегу и ловить маленьких креветок среди камней.

Ей запрещено даже подходить к морю, запрещено рвать водоросли, напоенные соленым ароматом океана, и собирать перламутровые ракушки, внутри которых так ясно слышен шум волн.

– Зачем тебе все эти гадости? Брось сию минуту! – раз и навсегда сказала мама.

Моника не может даже читать сколько ей хочется (говорят, что напряжение ослабляет память), но вместо этого ей приказано регулярно, по часу в день играть гаммы. Это доводит ее до сумасшествия, а взрослые называют подобную пытку дисциплиной пальцев.

Итак, летние вакации в Трувиле еще скучнее парижской жизни, и там еще реже она видит папу и маму.

Мама всегда разъезжает на автомобиле с кавалерами, а вечером, если обедает дома, – что бывает так редко, – сейчас же переодевается к танцам в казино.

Возвращается она очень поздно и так же поздно встает. Папа... Он приезжает только по субботам с поездом дачных мужей и в воскресенье всегда занят деловыми разговорами.

Но самое ужасное мучение – это гулять с мамой по набережной, где сходятся и расходятся по деревянному настилу белые манекены, точно соскочившие с магазинных витрин. Все они похожи друг на друга как две капли воды. То ходят плотными рядами, то разбиваются на группы (дамы и кавалеры), то толпятся под навесами павильонов, раскланиваясь с прибывающими новыми парами.

Когда доходят до конца деревянной набережной, заворачивают полукругом, и опять продолжается шествие. Зачем это делается, Моника не может понять.

Еще одна тайна! Мир ими полон, если верить небрежным ответам старших на ее бесконечные вопросы.

Иногда ей позволяют немножко поиграть – но недалеко от кружка, где заседают мамы, – с маленькой Морен и с мальчиком, которого она прозвала Волчком за то, что он всегда вертится на одной ножке и поет.

Сбившись в кучу под рассеянным взглядом, они все трое строят воображаемый раззолоченный замок с бастионами и рвами. В середине с граблями на плече стоит кудрявый мальчик по прозвищу Баран. Чтобы Баран стоял на месте, они командуют: «Ты будешь гарнизон!»

По правилам игры гарнизон освобождается только тогда, когда замок достроен совсем.

Тогда он бросается и берет в плен одного из троих: кого удастся поймать.

Но Баран уже давно в нетерпении топает ногами и нападает, не дожидаясь завершения постройки.

Волчок и маленькая Морен позорно убегают. Моника же, опираясь на военный договор, не трогается с места. Пока дело идет только о борьбе, она храбро защищается. Но Баран толкает – драка, крик. Прибегает люксембуржина, получает тоже свою порцию тумачков, сбегаются мамыши, растаскивают сражающихся и, не слушая часто очень противоречивых показаний пострадавших, задают виновным хорошую трепку. Баран весь исцарапан. Моника чувствует, как на ходу чья-то рука дает ей два увесистых шлепка. Пораженная, она оглядывается на коварного врага, пользующегося моментом ее слабости... но... это мама! Мама!

Ярость и изумление разрывают ее маленькое сердце. Она узнает, что такое несправедливость, и страдает как взрослая.

Монике десять лет. Она взрослая, или, скорее, как говорит мать, пожимая плечами: невыносимый ребенок с фантазиями и нервными вспышками. Все у нее не как у людей. В воскресенье, например, играла в прятки с Мишель и какими-то сорванцами в парке м-м Жакэ... и изорвала в клочья кружевное платье. Старинное кружево малин, только по случаю по 175 франков за метр...

А вчера увидела из окна кондитерской девчонку-нищенку, пожиравшую глазами витрину с пирожными, схватила с прилавка бриош в полтора кило и вынесла ей. Бриош! Это вместо куска хлеба-то!..

Потом хотела заплатить за него из своей копилки. Но все это не из милосердия делается, а просто по капризу, из какого-то фальшивого великодушия. Даже нехорошо возбуждать в бедных вкус к вещам, которых они сами не могут иметь. Но Моника совершенно не убеждает подобная философия, Моника, желающую осчастливить весь мир.

У нее уже есть и горе – ее не понимают родители. Но она не виновата, если не похожа на других, а тем более если папе с мамой не нравятся ее ввалившиеся щеки и сутулая спина.

– Ты тянешься вверх, как сорная трава, – твердят ей постоянно.

– Если так будет продолжаться, вот увидишь, непременно заболеешь.

Это пророчество Моника выслушивает равнодушно, почти с удовольствием.

Умереть. Экая беда. Кто ее любит? Да никто.

Нет!.. Тетя Сильвестра!

На Пасху Моника встала с постели после жестокого трехнедельного бронхита такая слабая, что шаталась на своих тоненьких палочках-ножках.

Тети не было около нее.

Доктор сказал:

– Ребенка нужно надолго увезти на юг, в какую-нибудь деревню, к морю. Ей вреден и климат здесь, и парижская жизнь.

Тетя Сильвестра сейчас же написала: «Я беру ее к себе в Гиер! Гиер – чудесное место, не правда ли, доктор?»

– Великолепно! Лучшего не может быть.

Отъезд был тотчас же решен, и Моника с радостью мечтала о чудесных солнечных днях возле ее настоящей матери – тети Сильвестры.

Монике двенадцать лет. Она первая ученица в пансионе тети и ходит в форменном платье, с косой.

На перекрестке туманно-серых улиц начинается пансионский сад и тянется, подымаясь вверх, по холму. Бледно-золотой пылью осыпает его солнце, льет свое золото на перья пальм, похожих на два гигантских бокала, на колючки кактусов, на голубоватые, желто-красные букеты огромных алоэ.

Море, как небо, и небо, как море, синими лентами сливаются вдаль. И снова Пасха. Цветущая Пасха! Грядет Христос на маленьком ослике в зеленом трепете ветвей.

Земля – пестрый ковер из роз, нарциссов, гвоздик и анемонов.

Завтра Моника наденет белое платье с вуалью, как маленькая невеста.

Завтра ее мистическая свадьба.

Завтра милый аббат Макагир – невозможно произносить это имя без улыбки – примет ее с подругами в церкви перед алтарем и будет экзаменовывать по катехизису.

Моника старалась вникать всем сердцем в божественный смысл прекрасных священных легенд и понимала их так глубоко, что даже могла объяснять своей любимой подруге Елизавете Меер.

Лиза – протестантка, она уже четыре года как приняла первое причастие, и суровый пламень ее веры еще более экзальтировал лихорадочный мистицизм Моника. Обе они, в обожании небесного жениха, темным инстинктом уже прикасались к тайнам человеческой любви...

Любовь Моника – вся чистота, раскрытие души, самозабвение. Моника устремляется к ней на крыльях своей мечты, в детском экстазе, и только один страх волнует ее душу: не осквернить бы, не разгрызть бы нечаянно девственно-снежную облатку, невидимую, но реальную частицу тела Божественного Жениха. Поэтому перед причастием она горячо просила аббата Макагира очистить на исповеди ее сердце от всех греховных мыслей. У нее есть две главные, они как черные мухи, вечно садятся на белую лилию ее светлых порывов, это любовь к нарядам – кокетство – и яйца... пасхальные яйца – чревоугодие. Прежде всего те, большие, шоколадные, что присылают из Парижа, потом разные сахарные, разноцветные и, наконец, куриные – красные, которые так забавно искать по клумбам в саду. Тетя Сильвестра заготавливала их сюрпризом за неделю до Пасхи для всего пансиона. По ее мнению, это было своего рода пасхальное причастие. А аббат Макагир качал головой и вздыхал:

– Как жаль, что такая превосходная дама и не верит в Бога!

Но пока аббат прощал тетю Сильвестру, ее грехи никого не приводили в ужас. Без тети Сильвестры Моника не желала бы попасть даже в рай. Лучше в ад – но с ней.

Монике четырнадцать лет. Забыты все болезни, она окрепла, как молодой кустик на родимой земле, она в том чудесном возрасте, когда юность облекает магической вуалью реальный мир.

Она не ведает зла – тетя Сильвестра с корнем вырвала все его плевелы из этой здоровой от природы души. Наоборот, Моника влечет к добру. Она не мечтательна, но верит, только, конечно, не в Бога. Ее детскую веру достаточно подорвали предрассудки аббата Макагира и Лизы Меер.

Она бессознательно воспринимала материалистические принципы тети Сильвестры, но с оттенком некоторой духовной утонченности, и идет даже дальше, скрывая свои юные мистические сомнения, проповедует абсолютный разум. Поэтому, конечно, ненавидит ложь и преклоняется перед справедливостью.

Ее любимая подруга, как прежде, Лиза Меер, которая теперь из лютеранства перешла в сионизм, Лиза Меер, в продолжение трех лет безнадежно влюбленная в нее. Она не осмеливалась целовать Моника с той страстью, которая ее сжигала, и мечты о взаимности рушились пред юной чистотой подруги. Вскоре, впрочем, она покинула пансион.

Моника стремительно влюбилась в профессора рисования, похожего на Альфреда де Мюссе. Но она не догадывалась о недвусмысленных, хотя и тщательно скрываемых чувствах к ней раббе, как и о притязаниях Лизы Меер.

Был июнь. Смеркалось. В душном воздухе сада все тело покрывалось испариной. После обеда Моника гуляла с Лизой по лавандовой аллее, поднимающейся к рыжей скале, тяжело распластавшейся над Салином. Вдали виднелось море и горы Мор, голубеющие на

хризолитовом небе. Сквозь легкую оранжевую дымку тяжелые свинцовые облака нависали над головой.

– Душно, – сказала Лиза, – и, сорвав листочек с апельсинового дерева, нервно закусила его.

Благоухали высокие эвкалипты, опьяняющими ароматами прованского лета дышал сад.

Моника расстегнула лиф и, высвободив голые руки, напрасно старалась освежиться.

– Ах... оторвались бретели у рубашки!..

Рубашка соскользнула с плеч, обнажив две маленькие круглые груди совершенной формы. На нежной коже блондинки с голубыми жилками – два розовых бутона.

Лиза вздохнула:

– Еще одна бессонная ночь... Я с удовольствием легла бы сегодня совсем голая... А знаешь, твои груди выросли, как мои.

– Да что ты? – воскликнула в восторге Моника.

– Только твои похожи на яблоки, а мои на груши, – и она, быстро расстегнувшись, показала их Монике – продолговатые и твердые, как две золотистые дыни.

Лиза с нежной лаской коснулась атласной груди Моника, и от этого неожиданно приятного ощущения Моника беспричинно засмеялась.

Но вдруг пальцы Лизы конвульсивно сжались на ее теле.

– Оставь! Что с тобой? – воскликнула Моника.

– Я не знаю... это от грозы... – покраснев, пролепетала подруга.

В первый раз Моника испытала странное волнение и решительным движением застегнула платье.

Издали долетел звонкий голос тети Сильвестры:

– Моника! Лиза!

Лиза сконфуженно поправляла лиф. Моника закричала:

– О-о-о!

Далекое эхо повторило ее голос. Гроза прошла...

Монике семнадцать лет. Она считает: один, два, три года – это все длится война. Боже мой! Три длинных года, как Гиер превратился в госпиталь для выздоравливающих раненых.

Моника преследуют эти мрачные глаза, шурящиеся от солнца, глаза, отвыкшие от него за эту ужасную, вечную ночь. Она не может понять, как эти люди, обреченные проливать свою и чужую кровь, могли свыкнуться с такой жизнью, похожей на смерть; ее сознание не вмещает мысли: как те, что не принимают участия в войне или отдают ей так мало, приемлют как нечто должное страдание и бойню других.

Мысль, что одна часть человечества истекает кровью, а другая в это время обогащается и веселится, потрясала ее душу. Торжественные слова: «Закон», «Право», «Справедливость» – развевающиеся знамена над социальной ложью, укрепляли в сердце Моника буйный протест.

Она блистательно сдала выпускные экзамены, к которым готовилась среди постоянных экзотических порывов самопожертвования – не только для выздоравливающих в Гиере, но для темной, безвестной солдатской массы, страдающей в смрадных траншеях.

Теперь начиналась новая жизнь – Париж, лекции в Сорбонне: Моника вернулась в семью. Простилась с тетей Сильвестрой, пансионом, домом, садом – со всем тем, благодаря чему она сделалась красивой девушкой с чистым, бесстрашным взглядом. Прощай, незабвенное прошлое, закалившее ее душу!

Она с удовольствием вошла в родной дом на улице Генриха Мартина, в хорошенькую девичью комнату, с любовью приготовленную родителями, и ее растрогал их нежный прием.

Они смотрели на Моника другими глазами: теперь – она их гордость. Посев тети Сильвестры взошел и пышно расцвел – они его пожнут...

Упоенная собственной внутренней радостью, Моника больше не сердилась на них, не огорчалась ни их отчужденностью, ни эгоизмом и даже любила их – по традиции, по закону природы.

В первый раз после 1914 года они снова поехали на лето в Трувиль. Весь август Моника провела добровольной сестрой милосердия во вспомогательном госпитале № 37 и была так занята – днем больными, а вечером чтением, – что совершенно не интересовалась окружающим. Немножко огорчалась только – как в детстве – вечным отсутствием отца и рассеянным образом жизни матери.

Фабрика Лербье выделяет снаряды и загребает миллионы. И только подумать, что в такое-то время люди, уклонившиеся от военной службы – дезертиры и спокойные зрители всеобщей бойни, – неистово выплясывают танго и совокупаются! Пляшут и совокупаются!

Монике девятнадцать лет. Мировой кошмар рассеялся. В душе такой прилив, такой расцвет сил, что во время перемирия она почти забыла ужас войны и отдалась водовороту жизни. Более чем когда-либо внутренне сконцентрировавшись и более или менее слившись с внешним существованием с родителями, она проходила курсы литературы и философии в Сорбонне, увлекалась теннисом и гольфом, веселилась, а в свободные часы делала искусственные цветы – это был ее собственный способ развлечения.

Светское общество, в котором неизбежно протекала жизнь, называло ее «оригинальной» и «позеркой» за то, что она не любила ни флирта, ни танцев.

Подруг всех Моника считала более или менее – по их легкомыслию – не ответственными за поступки, но глубоко развращенными в глубине.

Искать что-то в карманах панталон у мальчишек, как это делает Мишель Жакэ, или прятаться по углам со взрослыми подругами, как Жинетта Морен?.. Нет, покорно благодарю.

Если она полюбит, она отдаст всю себя одной великой любви. Но среди всех этих мужчин, о которых постоянно твердит мать, желая выдать ее замуж как можно скорее, только одно имя волнует ее немножко – Люсьен Виньерэ, коммерсант...

Она с удовольствием выделяла его среди других – и он тоже заметил ее.

Вытянувшись на диване, Моника мечтает. Бессменной цепью видений, как на таинственном экране, проходит прошлое. Из пропасти забвенья выплывают воспоминания – яркие до галлюцинаций. В полузабытьи она созерцает эти повторения себя самой.

Ей двадцать лет, и она любит... Любит и готовится выйти замуж. Через пятнадцать дней она уже будет мадам Виньерэ. Мечты сбылись. Моника улыбается с закрытыми глазами и взволнованно думает, что ни мэрия с ее официальной церемонией, ни шумный и скучный завтрак, где толпа людей будет поздравлять ее с затаенными фривольными мыслями, ничего не прибавят к ее счастью.

Она невинно отдалась два дня тому назад тому, кто для нее все. Отдала ему себя всю. Воспоминание об этом наполняет ее горделивой радостью. Ее Люсьен, ее вера, ее жизнь! Сейчас она его увидит на благотворительном базаре, и все ее существо стремится к нему, опережая сладкие мгновения. Она любила и поступила так, как хотел ее Люсьен, ее жизнь. Теперь она – «его жена» и счастлива, что смогла дать это высшее доказательство любви, этой высшей жертвой могла доказать ему Свое доверие. Ждать? Сопротивляться до того вечера, на который эта жертва уготована? Ради чего? Ведь свободный выбор, а не санкция закона освящает брак. Приличие? Не все ли равно – неделей позже, неделей раньше?

Приличие. Краснея от раздражения, она представляла себе, как звучит это пышное слово в устах ее матери.

О, если бы она знала!.. Моника вздрогнула: дверь отворилась, и мадам Лербье уже в шляпе появилась на пороге.

– Ты еще не готова? Это безумие. Автомобиль ждет. Разве ты забыла, что в половине третьего я должна завезти тебя в Министерство иностранных дел?

– Я готова, мама, только накину манто!

Мадам Лербье возвела взор к потолку и простонала:

– Я опоздаю на все мои рандеву.

– Жинетта, – позвала Моника.

– Что?

– Как твой флирт?

– Кто? Лео? Где он? В этой толпе никого не увидишь.

– У стола Елены Сюз. Выбирает сигару.

– Воображаю, какие гадости они говорят! Посмотри на их лица!

– И это тебя не волнует?

– Нисколько, наоборот, забавляет.

– Не понимаю...

Жинетта Морен фыркнула:

– Моника, ты очаровательна. Ты никогда ни в чем не разбираешься и ничего не понимаешь. Ты сущее дитя, несмотря на свой независимый вид.

Жинетта уже отвернулась от нее и, улыбаясь, раскладывала свой товар перед маленьким волосатым толстяком, Жаном Пломбино – «папским бароном» и королем спекулянтов.

– Галстук? О нет, не для того, чтобы на нем повеситься, нет – лишь в ожидании ордена Почетного Легиона на шею... Или эти прелестные платки? Не хотите? Тогда, может быть, коробку перчаток...

Под букетами зеркальных люстр, сверкающих сквозь стеклянную листву, в белой анфиладе салонов нарастал гул толпы. С гобеленов, со стен, обтянутых темно-красным штофом, мифологические персонажи удивленно рассматривали это сборище людей, переходивших от столика к столику и наполнявших шумом голосов огромную элегантную галерею нижнего этажа министерства, превращенную в этот день в зал благотворительного базара.

«Весь Париж» был сегодня здесь и гудел, как гигантский шмелиный рой. «Папский барон» Жан Пломбино рассеянно слушал болтовню мадемуазель Морен. Почувствовав на себе взгляд Моника, он склонил перед ней в почтительном поклоне свою безобразную голову в парике. Овдовев после брака с сицилианкой – торговкой апельсинами, он искал теперь для своей единственной дочери воспитательницу, достойную его новоприобретенного богатства.

Ядовитый гриб войны, но гриб еврейского корня и, значит, сильно привязанный к семейному очагу, «барон», преклоняясь перед золотым тельцом, все-таки выше ставил семейные добродетели. Под независимой внешностью Моника он угадал прямоту и честность – в его глазах качества тем более ценные, что в нем самом они отсутствовали и редко встречались в цветнике молодых девушек, со всех сторон навязываемых ему в жены и нетерпеливо ожидающих если не мужа, то любовника. Ярлычок с ценой наклеен – протягивай руку и бери. Единственное неудобство этой маленькой Лербье, белокурое сияние которой его очаровывало, – ее предстоящее замужество с Люсьеном Виньерэ, автомобильным фабрикантом. Правда, хорошая марка... Но куда торопиться! Как знать: может быть, разведутся еще... Если и не жена, то какая шикарная любовница...

По мнению самого Пломбино, этого носорога с липкой кожей, его уродство компенсировалось миллионами: человек с годовым доходом в миллион двести тысяч франков везде желанный гость.

Раздосадованный холодностью Моника, он удвоил свою любезность с Жинеттой Морен. Пикантная брюнетка...

Конечно, мимолетная забава. Но все же... Насколько Моника казалась ему достойной подругой жизни, настолько же Жинетта не внушала ему доверия. Для мимолетной связи – другое дело. При одной этой мысли его отвисшая губа увлажнялась слюной. Пломбино весело болтал со своим невероятным итальянским акцентом:

– Коробочку перчаток? Почему нет? Особенно, если вы сами их мне примерите...

– Шесть пар? Это немножко трудно.

– Не думаю, – захохотал он.

Жинетта удивленно посмотрела:

– Нет ничего смешного. Лайковые перчатки, размер семь с четвертью...

– Но это не мой размер.

– Оно и видно, – Жинетта дерзко расхохоталась, глядя на огромную лапу «барона».

Жан Пломбино был достаточно мужествен, чтобы не скрывать своего происхождения. В свое время он взвалил не один мешок на плечи, служа грузчиком в Генуэзском порту за три франка поденных.

При настоящем богатстве прежняя нищета стала для него предметом гордости.

– Не у всех на свете – пальчики феи, как у вас. Иногда и за деньги таких не найдешь! – ответил он смеясь.

Жинетта растерялась. На что он намекал? Почему он заговорил о деньгах? (Конечно, если у него приличное намерение... Баронесса Пломбино? Как ей ни было противно это животное, а все-таки тут стоило подумать...) Но барон все болтал:

– А, вот и Лео, законодатель моды! Здравствуйте, м-сье Леонид Меркер, мадемуазель Морен вас ждет.

– Виновата Елена Сюз, – сказал Лео, подмигивая ей с видом сообщника. – Я передал ей ваше поручение, мадемуазель.

– И что же?

– Все решено.

«Какой пройдоха», – подумала Жинетта.

В его непроницаемом взгляде Жинетта уловила намек на оргию вечером, у Аники Горбони, новой звезды полусвета. В ее испорченном воображении «четверти девы», жаждущей познания всех пороков, будущий вечер уже рисовался в туманных и заманчивых образах.

«Барон» понял, что он тут лишний.

– Вот это на ваши благотворительные дела, мадемуазель, и передайте мой почтительнейший поклон вашей матушке, – сказал он, вытаскивая из бумажника крупную синюю купюру.

– Так возьмите по крайней мере что-нибудь. Вот хотя бы это сашэ. Гвоздика... мой любимый запах.

– На память, благодарю вас. Что же касается перчаток... – Он указал на Меркера:

– Они достанутся ему. Ваш размер ему подойдет, я ручаюсь.

Расплываясь в улыбке и переваливаясь с ноги на ногу, он стал пробираться к соседнему столу, к мадам Бардино и Мишель Жакэ, зовущих его приветливыми жестами.

– Нет больше аристократии, – произнес с элегической грустью законодатель светских мнений. – Деньги сравняли всех. Наступило царство Хама...

Леонид Меркер, коротко Лео, как полагали в свете, стоял выше житейских мелочей. С юных лет он жил щедростью своих любовниц, потом прибыльные спекуляции по интен-

дантству в 1915 году создали ему надежную защиту и от бедности, и от всяких опасностей на фронте. Провозглашенный светским хроникером, этот бывший парикмахерский подмастерье мог жить теперь на свои доходы – тридцать тысяч франков в купонах государственных займов. Его сбережения за годы войны... Познав всю сладость военной службы по «особым поручениям», он продолжал ее и теперь. Должность прихлебателя при мадам Бардино позволяла ему тратить на мелкие расходы (вдвое превышавшие его доходы) часть денег, которые та вытягивала от своего любовника банкира Рансома. Это, впрочем, не мешало прекрасному Лео – поверенному старух и наперснику молодых – удить рыбку в мутной воде при каждой новой встрече. Вновь подошедшие прервали их тет-а-тет. Жинетта, сверкая глазами, склонялась над своим столиком, гордясь, что вокруг нее толпится гораздо больше народу, чем около ее подруги, маленькой задорной Жакэ, профиль которой виднелся за соседним прилавком. Казалось, Жинетта голой шеей и четко выступающей под прозрачным крепом грудью с каждой проданной вещью отдает каждому из покупателей часть самой себя. К ее чувственному возбуждению примешивалось и удовлетворенное тщеславие: в этот вечер у нее будет самая большая выручка.

– Пойдите, Лео! Вы мне еще ничего не сказали.

Заметив направляющихся к ним Сашу Волан и Макса де Лом, он тихо и быстро шепнул:

– Завтра в шесть часов у Аники. Ваши родители обедают в Елисейском дворце, и времени у нас довольно...

– А где мы встретимся?

– За чаем на Вандомской площади. Я буду с Еленой Сюз.

– Вы просто душа.

Он уже церемонно прощался, как вдруг волнение и усиливающийся гомон толпы заставили их взглянуть в другую сторону.

Публика теснилась, освобождая проход. Как большой корабль вплыл сухой, бритый человек – американский миллиардер Джон Уайт. Корабль сопровождала ныряющая в волнах шляпка – генеральша Мерлэн собственной персоной, председательница общества помощи увечным воинам во Франции. Окруженная шумной толпой пожилых мужчин и изящных дам, она показывала товар знатному иностранцу.

– Вот это серьезные клиенты, – шутливо сказал Лео, – я исчезаю.

Стоя спиной к Жинетте, равнодушная к ее успехам, Моника с удивлением заметила, что волны этих официальных персонажей направляются в ее сторону. Кого они искали? Вероятно, заведующую столом мадам Гютье, вице-председательницу общества. Шествие остановилось перед ее выставкой искусственных цветов.

Жинетта побледнела от зависти. Жеманная мадам Гютье кинулась навстречу посетителям.

– Позвольте вам представить, – повернулась генеральша к Джону Уайту, – нашу милую председательницу, мадам Гютье, жену бывшего министра.

На угловатом лице миллиардера не отразилось ничего.

Лишь механический поклон и поворот головы в сторону этой неведомой дамы.

– Мадемуазель Морен, дочь известного скульптора.

Несмотря на почтительный реверанс Жинетты, ее имя вызвало лишь такой же равнодушный кивок.

– Мадемуазель Лербье!

Выражение интереса внезапно разгладило жесткие черты американца.

– А! Химические фабриканты? Знаю... А эти вещицы?

Его длинное туловище склонилось над прелестными нарциссами, розами, анемонами, похожими на цветник в кукольном садике.

– Мадемуазель Лербье сама их делает. И так художественно, у нее так много чисто парижского вкуса...

Видя, что автомат, которого она в течение двадцати минут водила по залам без иного результата, кроме кивка головы и неопределенного «а», проявил признаки жизни, генеральша воспользовалась этим неожиданным случаем и постаралась заинтересовать своего гостя целями их общества.

– Мадемуазель Лербье самая преданная наша сотрудница. Ее обожают солдаты.

«Вот те на. Хорошо сказано», подумала Моника, которая только раз была в большом госпитале в Буафлери и вернулась настолько потрясенная, что не нашла в себе мужества пойти еще раз.

Но генеральша взглядом полководца приглашала ее подчиниться лжи.

Джон Уайт посмотрел на Моника сочувственно. Он зажал в своей могучей лапе веточку боярышника и внимательно ее разглядывал.

– Какая прелесть эти белые лепестки, – рекламировала председательница общества, – и заметьте, какие нежные тона, не знаешь, слоновая ли это кость или пенка.

Моника пояснила:

– Это просто хлебный мякиш, высушенный и разрисованный.

– О! – произнес Джон Уайт, – в самом деле? Я его беру.

И, передав толстой мадам Мерлэн тонкую безделушку, он вытащил из внутреннего кармана пиджака книжку и перо. Подписав с невозмутимым видом два чека, протянул один в пять тысяч пораженной Монике «за боярышник», а другой – в десять – председательнице «на вечных». Круглое лицо ее засияло, как полная луна.

Затем, молча улыбнувшись Монике и послав общий кивок в сторону стола, он двинулся дальше, не выражая ни малейшего желания подойти к следующим киоскам, несмотря на почтительные приглашения мадам Бардино.

Но председательница чувствовала себя удовлетворенной и находила дальнейшие демонстрации излишними. Теперь следовало как можно скорее предложить благотворителю бокал шампанского.

Теснясь за американским кораблем и его шлюпкой, толпа волной отхлынула к буфету.

– Вы нам не говорили, милая, что у вас есть знакомство в Америке, – тоном упрека сказала Монике мадам Гютье.

– У меня? Я никогда не слыхала о Джоне Уайте.

– Это правда, – подтвердил кто-то.

Услышав знакомый голос, который внезапно перекрыл все пространство, Моника стремительно повернулась к пришедшему. А Люсьен Виньерэ закончил:

– Но зато Джон Уайт, вероятно, слышал об изобретении г-на Лербье.

Моника сразу оживилась. Румянец проступил на ее нежной белой коже. Она теребила чек.

– Как, вы уже знаете?

– Такое событие, еще бы! – улыбнулся Люсьен.

– Я до сих пор не могу прийти в себя...

«Как же, рассказывай, – подумала Жинетта и вернулась на свое место в уверенности, что вся сцена была заранее подготовлена.

Мадам Гютье, покровительствующая успеху в любви, поторопилась оставить влюбленных вдвоем... Какая прелестная парочка и как они подходят друг другу.

Чуть заметным движением губ Люсьен и Моника обменялись нежным поцелуем. Даже в самых его банальных словах теперь для нее звучала музыка счастья.

– Не ищите тут никакой загадки, – продолжал Виньерэ, – это все не ради одной вашей улыбки, хотя она стоит и дороже чека Джона Уайта. Его жест направлен в сторону вашего

отца. Этот американский дядюшка, очевидно, соображает, что соединение азота с искусственным удобрением может быть выгодно применено на американской почве. А так как Джон Уайт франкофил, то и предпочитает начинать дело с Обервилье, а не с Людвигсгафеном. Теперь поняли?

– Что же... Доллары всегда желанные гости! – и с горечью, которая удивила Моника, Люсьен добавил:

– Конечно, золото всегда желанный гость. Особенно когда эти доллары приходят в виде луидоров.

– Наша промышленность возвращает нам пока только то, что мы затратили на вооружение. Но что поделаешь. Ведь не по вине Нью-Йорка Париж и Берлин воевали между собой, сказала Моника.

– Вы правы, Минерва, – согласился он.

Он шутя называл Моника «Минервой» за ту категорическую логику суждений, которой он побаивался и которую ценил не меньше, чем ее красоту. Она не выносила этого слова, угадывая за ним его насмешку, оно бросало единственную тень на их любовь... Люсьен улыбнулся.

– Нехорошо дразнить меня, – обиделась Моника. – И это постоянно, когда я с вами начинаю говорить серьезно! Ведь в сущности я же равнодушна ко всему, кроме нашей любви...

Он смотрел на нее польщенный, а Моника шептала:

– Вы мое настоящее, мое будущее, мое тело, моя душа... Какое счастье быть безгранично уверенными друг в друге. Ведь вы никогда не обманете меня, Люсьен? Нет, такие глаза не смогут, не сумеют солгать! Расскажите мне все ваши мысли, Люсьен... Люсьен. Где ты?

Он прильнул к ее пальцам и между долгими и медленными поцелуями прошептал:

– Настоящее... – чуть слышно прибавил: – я вас люблю... – Но в это время думал про себя: «Однако ее мания откровенности прямо-таки убийственна. В будущем это сулит массу удовольствий! Может быть, я сделал ошибку, не признавшись ей во всем, вплоть до истории с Клео? Надо было попросить ее отца рассказать ей об этом, хотя бы кое-что. Но теперь слишком поздно».

«Я вас люблю» – магические слова воскресили в памяти Моника незабвенные часы, когда они случайно остались вдвоем в их будущей квартире...

Она не смела признаться даже себе самой в желании, чтобы это повторилось опять... В отрывочных воспоминаниях она переживала все то, что изо дня в день неразрывнее и крепче соединяло их жизни: прогулки, встречи... Сегодня вечером его обычный визит. Завтра в пять у меховщика; потом нужно взглянуть на мебель «ампир», о которой говорил Пьер де Сузэ, потом чай у Ритца... Она соорудила гримаску:

– Как жаль, что вы заняты сегодня вечером. Было бы гораздо любезнее пообедать с нами, а после театра вместе встретить Рождество. На всякий случай я сохраню ваше место в ложе, вы ведь знаете, № 27... Алексис Марли в роли Менелая.

– Я сделаю все возможное, чтобы освободиться, но уверяю вас, у меня неотложное дело. Да-да – разрешение на новую машину, заключение контракта с бельгийцами, приехавшими специально из Антверпена... В приятной атмосфере ужина они, конечно, станут много податливее.

Все это он ей рассказывал, и Моника должна была считаться со скучными подробностями его профессии.

– В будущем году, – погрозила она пальцем, – мы уж не расстанемся.

Она мечтала, как после опьянения первых дней брака они нераздельно сольются во всем – в радости, горе и даже в работе.

– Вы это обещаете, Люсьен?

– Ну, конечно.

В свои тридцать пять лет Люсьен Виньерэ входил в брак так, как входят в гавань корабли после бурного плавания. Уверенный в любви Моника, он предвкушал моральный покой и душевную удовлетворенность. Перспектива этой уравновешенности манила уютом, похожим на ночные туфли. Он думал только о своем счастье.

Счастье Моника? Об этом нечего беспокоиться. Нежность, предупредительность и всепоглощающее присутствие детей... Всепоглощающее для матери, конечно... Сам он мало задумывался о детях, уже имея где-то покинутого ребенка – дочь.

И эта ответственность за маленькую жизнь не была ему тягостнее воспоминания о недавно раздавленной им собаке.

Сейчас его заботил неизбежный, хотя бы внешний, разрыв с его любовницей – модисткой Клео, молодой девушкой, которую он лишил невинности и которая надеялась впоследствии выйти за него замуж. Неудержимая, ревнивая – совершенно характер Моника. Но какой-нибудь выходки с ее стороны он опасался больше, чем правдивых и непосредственных поступков Моника. Наоборот, они очаровывали Люсьена с тех пор, как он владел ею. Как избежать возможного скандала? Может быть, до последнего момента усыпляя ее подозрения? До того момента, когда с договором в кармане он станет хозяином дела Лербье, – а дальше будет видно. Если уж это неизбежно, можно, пожалуй, первое время потихоньку продолжать эту связь... Расчетливый делец, Люсьен Виньерэ предвидел большие выгоды, становясь компаньоном своего будущего тестя. Сделка в принципе была решена, и Моника, сама того не подозревая, оказывалась главной ставкой в этой игре.

Завод Лербье был также затронут общим кризисом, поразившим деловой мир, и, несмотря на внешнее благополучие, держался с трудом. Разработка новых изобретений поглотила всю прибыль военного времени. Тем не менее Люсьен рассчитывал на блестящее будущее, расписываясь при заключении брачного контракта в получении пятисот тысяч франков приданого Моника, фактически не выплачиваемых, и внося в общество Лербье – Виньерэ лишь пятьсот тысяч наличностью. Трансформация азота при умелой эксплуатации будет золотым дном. Этим объяснялось его плохо скрываемое недовольство подозрительной щедростью Джона Уайта, их возможного компаньона. После свадьбы – сколько угодно... А до того времени, по мнению Виньерэ, девушка имеет, конечно, свою цену, но лишь цену патента. Рассуждая таким образом, он был не хуже и не лучше большинства мужчин.

Люсьен уже хотел проститься с Моникой, как та удержала его с мольбой в глазах:

– Мама сейчас приедет... Вы нас проводите.

В своем невинном порыве она упивалась летящими минутами счастья, как монахиня вечностью. Люсьен, с его решительным выражением лица, мускулистой худобой, агатовыми глазами был для нее всем. Что в сравнении с ним даже признанные красавцы – Саша Волан – бывший авиатор и теперь чемпион автомобильных гонок, даже Ангиной – Макс де Лом – литературный критик новой французской Антологии...

Она как раз видела их обоих флиртующими с Жинеттой. Мадемуазель Морен презрительно взглянула на стол Моника. Несмотря на приближавшийся конец базара, он больше чем наполовину был еще загроможден вещами...

– Ну, – сказала она, – у тебя дело что-то не идет. А у меня нечего больше продавать.

– Нет, есть, – запротестовал Саша Волан.

– А именно? Что же?

– Вот это.

Он указал на увядающую розу за ее поясом. Макс де Лом с двусмысленной улыбкой произнес:

– Ваш цветок.

Жинетта захохотала.

– Он слишком дорог для вас, друзья мои.

Оба разом воскликнули:

– Ну, например, сколько? Назовите цену.

– Не знаю. Двадцать пять луидоров. Дорого?

– Это даром, – галантно ответил Саша Волан. – Даю тридцать. Кто больше?

– Сорок, – произнес Макс де Лом.

– Пятьдесят!..

Мадемуазель Морен нашла, что если не цена, то двусмысленная шутка зашла слишком далеко и, отколов цветок, который уже хотел взять Саша Волан, протянула его появившемуся в этот момент Меркеру.

– Осталось за ним, господа, – сказала она с насмешливой гримасой. – Я не продаю, а дарю.

В больших салонах, где не было такой толкотни и шума, благотворительный базар казался рядом частных приемов.

Знаменитый джаз-банд Тома Фрики сменил оркестр республиканской гвардии. Между столиками, в большой зале с буфетом, фокстроты чередовались с джимми. Вокруг витрин собрались группами близкие знакомые, слышались взрывы смеха и громкие голоса. В сравнении с послеобеденной сутолокой теперь этот праздник казался праздником избранных, где собрался цвет высшего общества. Здесь соединились в своем кругу пятьсот-шестьсот постоянных посетителей всех торжеств и генеральных репетиций.

– Ваша мама не едет, – сказал Виньерэ. – Уже шесть часов. Я должен идти. Совершенно неотложное дело... (Свидание с Клео, у нее, в шесть с четвертью).

– Итак, – сказала Моника вздыхая, – до вечера. Не опаздывайте же слишком.

– В половине десятого, как всегда...

Моника проводила его нежным взглядом, и сейчас же ее охватило чувство острого одиночества. Зачем она здесь, на этой ярмарке тщеславия и соблазнов.

В ней вызывали отвращение роскошь и глупость, выставленные напоказ под правительственными эмблемами, и демонстративно шумливый подсчет «выручек». пышная вывеска «В пользу увечных воинов Франции» не могла изгладить в ее душе незабываемого впечатления – большого госпиталя в Буафлери.

Несмотря на привычку к чужому страданию в других госпиталях, память об этом зрелище была невыносимой. Какие-то человеческие пресмыкающиеся, ползущие или подпрыгивающие на костылях, обрубки, передвигающиеся на колесиках, раненые в лицо, когда-то озаренное надеждой любви, умом, а теперь превращенное в бесформенную массу с белыми дырками вместо глаз, с искривленным, стянутым ртом...

Невыразимый ужас. Преступления войны – пятна сукровицы, которых никогда не смоет с окровавленного лба человечества все золото мира, все сострадание земли.

Послышался резкий смех Жинетты Морен. Одновременно Моника увидела свою мать и бросилась к ней навстречу. Мадам Лербье шла небрежной походкой, вся утопая в мехах.

– Уйдем отсюда, скорей!

– Что с тобой?

– Мне дурно!

Мадам Лербье сочувственно посмотрела на дочь:

– И неудивительно, в такой духоте... Но подожди, я немножко пройдуся.

Задыхаясь от жары, она распахнула свой соболий палантин.

На ее жирной шее блистали жемчуга.

– Это невыносимо, – говорила мадам Лербье, спускаясь по широкой лестнице министерства. – Твой отец взял автомобиль для себя... Люсьен мог бы догадаться прислать за нами свой.

– Ну, мы найдем такси.

– Терпеть не могу эти колымаги! Грязно и каждую минуту рискуешь жизнью.

– Ну тогда пойдем пешком, – рассмеялась Моника. Мать взглянула на нее косо.

– Во всяком случае, мама, если у тебя отвращение к такси, есть еще трамвай с той стороны моста.

– Как остроумно!

Моника ведь отлично знала, как презирала она демократические способы передвижения: мешаться с толпой, ползти черепашьям шагом, к тому же вонь... Мадам Лербье пожала плечами.

– Ты же согласишься, что хороший автомобиль...

– Естественно. Сто тысяч дохода лучше, чем пятьдесят, пятьдесят лучше, чем двадцать пять и так далее. Но что касается автомобиля... Даже если бы Люсьен его не имел, я пошла бы за него с таким же удовольствием.

– С милым рай и в шалаше, – засмеялась мадам Лербье. – Ты идеалистка и слишком молода. Посмотрю я, когда у тебя будет взрослая дочь... Позови вот этого, – простонала она. – Да зови же его. Эй! Шофер!

Человек в кожане презрительно проехал мимо, не отвечая.

– Животное! Большевик! Вот куда он нас ведет, твой социализм!

Мадам Лербье в отчаянии смотрела на набережную, вдоль которой дул резкий ветер, когда вдруг по зову швейцара подъехал роскошный экипаж. Одновременно их окликнула Мишель Жакэ, выходящая следом.

– Мадам Лербье, вы позволите вас довести?

– Как? – воскликнула мадам Лербье. – Вы одна?

– Мадам Бардино, которой мама меня поручила, похитил Лео.

– Ну конечно, – не удержалась мадам Лербье.

– О, – сказала Мишель, съезживаясь кошечкой в экипаже, – кажется, это конец. Лео строит глазки Жинетте. В наказание ей следовало бы найти ему заместителя... Правда, Моника?

– Я ничего не заметила.

– Она видит только своего Люсьена. От меня же мой жених не заслоняет мира. Д'Энтрайг, с его титулом маркиза, импонирует только моей матери. С моим приданым она могла бы для меня найти и герцога.

– О, Мишель, – перебила ее скандализованная мадам Лербье. – Если бы ваша мама слышала, что вы говорите о ее будущем зяте!

– Она заткнула бы уши.

– Для современных молодых девушек нет ничего святого. Кстати, почему мы не имели удовольствия видеть сегодня вашего жениха?

– Да ведь сегодня же его четверг.

Мишель сколько возможно избегала этого торжества.

Собрание старых и молодых мужчин, одержимых болезнью попрошайничества или зудом выставлять себя напоказ... Там можно было также наблюдать всякие разновидности «синих чулок», как, например, мадам Жакэ, – автора небольшого сборника афоризмов и члена общества имени Жорж Санд (литературная премия – пятнадцать тысяч франков).

Мадам Лербье сокрушенно повторила:

– Да, верно, сегодня его четверг.

Насколько невысоко она ценила мадам Бардино, хотя и была с ней всегда любезна, настолько же преклонялась перед богатством мадам Жакэ. Это была бывшая танцовщица, которая из домов свиданий извлекала в конце концов не только знаменитые жемчужные ожерелья и особняк на авеню Булонского леса, но и мужа-посланника.

Он умер, разбитый параличом, во время войны, и она величественно носила по нем полутраур как по официальному отцу Мишель. Ее всеми признанный салон, где всегда были папский нунций и председательствующий сената, создал ей могущественное положение в обществе.

Она создавала академиков и низвергала министров.

В то время как Моника, погруженная в свои мечты, подавала односложные реплики на сплетни Мишель о ее подругах, мадам Лербье безмятежно отдавалась убаюкивающему покачиванию кареты. Превосходный экипаж после утомительных дневных разъездов! Выставка английских портретов – ничего не было видно за толпой. Новомодный чай с танцами на улице Дону – ни одного свободного столика! И в довершение всего от пяти до шести сидение на диване у мадам Рожэ...

Дрожь пробежала у нее от затылка по спине. Она таинственно улыбнулась себе в узком зеркальце золотой пудреницы, отразившем ее полное лицо. При искусной косметике и тщательном массаже морщины на нем были так же незаметны, как следы недавних поцелуев. Пятидесятилетняя мадам Лербье, занятая исключительно собственной персоной, преследовала только одну цель – казаться тридцатилетней. Плохая хозяйка, она, однако, недурно вела весь дом, при том, конечно, условии, чтобы ежемесячные расходы аккуратно оплачивались мужем. А что думал или делал ее муж? Это для нее не существовало, так же, как психология дочери. Вопреки, а может быть, и благодаря этому улыбающемуся эгоизму свет называл ее «прекрасной и доброй мадам Лербье». Злословие ее не касалось. Она отлично умела симулировать альтруизм и делала это очень искусно.

– До свидания, душечка, до завтра, – сказала Мишель, целуя Моника. – Мы встретимся в театре? До свидания, мадам Лербье.

– Привет вашей матушке.

– Благодарю вас. Она обрадуется, узнав, что мы возвращались вместе. Моя мама преклоняется перед вами.

Мадам Лербье с гордым видом прошла мимо низко склонившегося перед ней швейцара. Эти приметы всеобщего уважения – от высших до самых низших слоев общества – были ей необходимы как воздух. Атмосфера всевозможных предрассудков была единственной, в которой она могла существовать.

Лифт остановился. В тот же момент открылась дверь квартиры. Тетушка Сильвестра только что вернулась, скромно поднявшись по лестнице, и теперь ждала их.

– Вот видишь, мы остались живы, – подшутила мадам Лербье над сестрой.

Провинциальная жизнь создала у старой девы чувство страха перед двумя вещами: перед клетками лифта (с их таинственными многочисленными кнопками), подвешенными на канате, и перед перекрестками улиц, где сновали автобусы.

– В вашем Париже с ума можно сойти.

Она потрепала по руке Моника, которая, поцеловав ее, спросила:

– Ну что, понравился тебе французский театр?

В каждый свой приезд тетушка Сильвестра считала своим долгом посетить классический театр.

– Только этого и не хватает у нас в Гиере. А то бы совсем земным раем стал, – сказала она Монике. – Правда?

– Вполне с тобой согласна.

Моника снова расцеловала ее сморщенные, пергаментные щеки. Она чувствовала себя дочерью этой доброй старой девы больше, чем своей матери.

Гиер... Безмятежное прошлое воскресало в ее благодарных воспоминаниях. Классы... Окна, распахнутые в голубой простор. А сад!.. Скалы... Бельведер, с которого она первый раз увидела мир.

– Вот, посмотри, моя родная, – показала тетушка Сильвестра, – тебя ждет масса писем. Моника окинула взглядом кучку конвертов на лакированном подносе.

– Ничего нет. Вздор один.

Ее забавляло, что адресованы они были то на имя «мадам Виньерэ», то на ее девичью фамилию, написанную с грубейшими ошибками. Всевозможные предложения, начиная с карточек частных детективов (быстро и секретно), кончая поздравлениями рыночных торговков и рекламами «секретов красоты».

– Скажи, тетя, разве не неприличны все эти объявления? Хоть новобрачных оставили бы в покое. В конце концов ведь это событие касается нас одних. Пойдем поболтаем, пока я буду переодеваться. Так хорошо поговорить обо всем без стеснения. Освежает, как душ.

Она надевала вечернее платье – широкую тунику, свободно драпирующуюся вокруг линий тела.

– Как она мне нравится, – говорила она, – как хорошо в ней себя чувствуешь. Одновременно впечатление и наготы, и целомудрия статуи. Помнишь статую Дианы в Марсельском музее?

– В тунике, ниспадающей до полу... Да! Хорошо!

Неожиданно, охваченная буйным порывом веселья, она схватила за талию ошеломленную тетушку и закружилась с ней по комнате, напевая. Хохоча, она покрывала поцелуями то нос, то подбородок доброй старушки. И та не сопротивлялась, добродушно отдаваясь этим бурным ласкам.

– Уф!.. – воскликнула наконец, отдуваясь, тетушка Сильвестра. – Довольно!

Моника поправляла прическу. Рукава соскользнули с плеч, обнажив золотистые волосы под мышками. Ее молодая, выпуклая грудь придавала всей фигуре вид статуэтки «Победа», стремящейся навстречу триумфу.

– Ты заметила, что под всем этим хламом есть одно письмо, – сказала тетушка Сильвестра и, разглядывая его, добавила:

– Какое-то странное...

– Правда? Покажи.

Засаленный конверт, дешевая бумага, измененный почерк... Похоже на какой-то анонимный донос. Моника вскрыла его с отвращением.

– Ну что там! – воскликнула тетушка Сильвестра, наблюдая сначала за удивленным, а потом покрасневшим от гнева лицом Моника.

– Прочти...

– Я без очков. Читай, я слушаю.

Голосом, полным негодования и невольного беспокойства, Моника начала читать: «Мадемуазель!

Грустно подумать, что можно обманывать даже такую девушку, как вы. Человек, за которого вы выходите замуж, не любит вас, но обдeldывает на этом браке свои дела. Вы не первая... На его совести много других. Если не верите, справьтесь у мадам Люро, 192, улица Вожирар. Он соблазнил и бросил ее дочь, после рождения ребенка... Теперь тоже у него есть любовница. Зовут ее – Клео. Он бывает у нее каждый день. Она ничего не подозревает, и они любят друг друга. Считаю долгом вас предупредить.

Женщина, которая вас жалеет...»

Гневным движением Моника разорвала листок на клочки.

– В печку! Единственное, что подобные письма заслуживают.

– Есть же такие подлые душонки, – прошептала тетушка Сильвестра, – и чего только не придумает злоба! – Однако точность указаний – имя, адрес – озаботила ее. Пожалуй, следовало бы проверить. Она решила это сделать сама, не тревожа Моника.

Но Моника, предчувствуя ее намерение, уже сердилась:

– Нет, нет, мы не смеем оскорблять Люсьена такими подозрениями. Он сказал мне, что в его холостой жизни не было серьезной привязанности. Предположить, хотя бы на минуту, что он способен на подобный поступок, значит унизиться самой. А что касается так называемой Клео... – она улыбнулась. Разве одновременно с Люсьеном не уверял ее и отец, что с этой историей давно покончено?

Каприз, отлетевший до начала их любви...

Обед прошел очень весело. На шутки тетушки Моника отвечала с такой нарочитой веселостью, что мадам Лербье все время искоса на нее поглядывала. В этот вечер нервность дочери была заметна как никогда.

– Моника! – окликнула она, показывая на горничную, лопающуюся от неудержимого смеха. В ее руках со звоном подпрыгивало на подносе блюдо с паштетом в портвейне.

Но Моника закусила удила.

– Знаешь, папа, как Понетта окрестила Лео?

Г-н Лербье приподнял свою маленькую птичью головку.

– Мой хвостик!

– Неужели?

– Мишель слышала.

Тетушка Сильвестра заинтересовалась:

– А кто такая Понетта?

– Мадам Бардино.

– Но почему же Понетта?

– Вместо Полетта... Потому что ее можно оседлать, как пони.

На этот раз мадам Лербье сочла нужным для приличия рассердиться.

– Ты ужасно плохо воспитана, Моника!

– Это в твой огород, тетушка! Если бы не учила меня всегда говорить правду...

– Извини, но твоя мать тоже права: необходима известная манера, даже чтобы говорить правду.

– Конечно! – улыбнулась мадам Лербье. – А что это такое, правда?

– То, что я считаю истинным, отрезала Моника.

– Да? Значит, ты одна взяла на нее монополию? Что ты на это скажешь, Сильвестра, ее учительница?

Тетушка Сильвестра поддержала сестру.

– А кроме того, эта среда мне противна, – не столько извиняясь, сколько поясняя, продолжала Моника. – Какое счастье, что Люсьен так мало похож на всех этих паяцев, а я на этих кукол.

Она ждала одобрения от тети Сильвестры.

– Пора тебе, однако, знать, – сказала мадам Лербье в заключение, – что с твоей манерой говорить и действовать по прихоти твоего вдохновения тебя принимают за помешанную. В сущности, тебе следовало бы родиться мальчишкой. Посмотри на твоих подруг, Жинетту или Мишель...

Моника поставила стакан на стол, задышавшись от смеха.

– Их мужей не придется поздравлять с обновкой, – сказала она, пользуясь отсутствием горничной.

Мадам Лербье поперхнулась, скандализованная. Ей хотелось, чтобы Моника, не будучи наивной гусыней, все же сохранила до свадьбы то приличное неведение, которое накануне великого дня, по традиции, благопристойно разрушает мать.

Но когда под предлогом научного образования внушается откровенность, не отступающая ни перед чем, даже перед произнесением названий самых тайных органов... Нет! Какие

бы убеждения ни были у Сильвестры, а некоторые главы естественной истории должны для молодых девушек ограничиваться примерами растительного царства.

Точным определением анатомии мадам Лербье предпочитала, «вопреки ее псевдоопасности», вуаль стыдливости, да, вот именно – «стыдливость перед тайной». Стыдливость – этим великим словом, по ее мнению, было сказано все.

– Ты меня заставляешь глубоко страдать, – прошептала она.

– Нужно с этим примириться, мама, со времен войны мы все в какой-то мере стали мальчишками.

Г-н Лербье предпочитал в эту область не вмешиваться. Он разрешал проблему пола и семьи просто: он жил отдельной жизнью – вот и все! Затем – главным образом – изобретатель был поглощен единственной мыслью: избежать неминуемого краха, а для этого возможно скорее выдать замуж Моника.

Пока что необходимо было посвятить наконец свою дочь в то соглашение, расходы по которому падали на нее. Но как она к этому отнесется? Моника, конечно, рассчитывала участвовать в расходах по дому или по меньшей мере самостоятельно покрывать собственные траты. Думая обо всем этом, г-н Лербье печально опустил голову. Однако, переходя в гостиную, он гордо выпрямился. Его жена рассказывала о щедрости Джона Уайта. Он заинтересовался.

– Эге! Я напишу этому меценату, поблагодарю его и предложу осмотреть завод. Быть может, приглашу его и позавтракать...

Ему представлялась радужная перспектива: не заполучит ли он больше от Виньерэ, противопоставив ему богача Уайта, и наоборот? Не говоря уже о том, что, присоединив затем Рансома и Пломбино... Он потер руки. Это надо обдумать. Но г-н Лербье забывал при этом, что одна карта была уже выставлена: любовь Моника. Впрочем, эта мысль не огорчила его ни капельки. В делах обычная кротость этого человека переходила в свирепость.

– Что ты скажешь относительно вторника, моя дорогая? Можно было бы пригласить Пломбино и Рансома, а также еще и министра земледелия?

– А Люсьена? – воскликнула Моника. – Ты о нем забыл? Если дело идет о твоём открытии...

– Да, конечно, и Люсьена.

Она воспользовалась тем, что он закуривал сигару, и в то время, как дамы рассаживались за карточным столом, высказала наконец мучившую ее заботу:

– Послушай, папа. Что касается Люсьена, то я получила сегодня вечером странное письмо. Анонимный донос...

Г-н Лербье поднял голову.

– Классический случай! И что же там говорится?

Не спуская глаз с отца, Моника передала ему содержание. Голос ее дрожал. Лербье развел руками, но ничего не ответил.

– Однако, папа, а если это правда? Если на улице Вожирар действительно существует мадам Люро?

– Не беспокойся, я бы об этом знал, – сказал он почти уверенно. – Не выдают же дочь за человека, не разузнав ничего о его жизни.

Моника вздохнула свободнее.

– Я была в этом уверена. Относительно Клео тоже, не правда ли?

Тут Лербье заговорил осторожнее, почувствовав себя на скользкой почве.

– Ты понимаешь, что мужчина до тридцати пяти лет не мог дожить аскетом... Я не берусь утверждать, что у твоего жениха, как и у всех других, не было в прошлом маленьких походов... Но это пустяки! Все это уже кончено и будет погребено вместе с его холостой жизнью.

– И еще одно меня тревожит... В этом письме говорится, что Люсьен, женись на мне, обдeldывает какое-то выгодное дело... Я не понимаю... Какое?

Лербье почесал затылок. Опасный момент наступил.

– Выгодное дело? Да нет же, Господи! Уверю тебя, что с этой стороны он выказывает много чуткости и даже бескорыстия. Послушай, моя дорогая! Я должен тебе сделать признание... Все равно на днях я хотел посвятить тебя во все, так как перед подписанием твоего брачного контракта нам нужно сговориться. Ты сама предоставила мне случай... Дело вот в чем: ты знаешь, что прежде чем стать моим зятем, Люсьен должен сделаться моим компаньоном. С другой стороны, тебе известна и ценность моего изобретения... Я не говорю уже о том, что всю жизнь я посвятил этим изысканиям, о силах, на них затраченных, о всевозможных огорчениях, которые тоже, к сожалению, нужно было пережить. Мне пришлось израсходовать много, очень много денег, пустить в ход более половины нашего состояния. И если бы пришлось реализовать теперь капитал, составляющий твое приданое, как я это и хотел сделать – я оказался бы в чрезвычайно стесненном положении...

– Ах, папа, почему же ты мне раньше этого не сказал?

– Мне неприятно было говорить. Тогда твой жених, несмотря на тяжелый промышленный кризис, переживаемый всеми нами, сам предложил мне – зная о моих затруднениях – не вносить эти пятьсот тысяч франков... Конечно, если ты согласишься...

– Само собой разумеется, папа.

– ...и оставишь их в моем распоряжении...

Моника поцеловала отца.

– Это только справедливо. Почему он сам не поговорил со мной об этом?

– Он предпочел, чтобы переговорил я. Ты понимаешь, я колебался... Мы сразу же смогли бы использовать и другие предложения, которые уже есть на примете: Уайт, Рансом, Пломбино... Само собой разумеется – ты мне только даешь взаймы. И будь уверена, с отдачей! Отличное, превосходное будущее... Ты сама увидишь, дитя мое, что, соглашаясь жениться на тебе такой, какая ты есть в настоящий момент, то есть без гроша, Люсьен поступает так, как и ты сама, я уверен, поступила бы... По отношению ко мне он проявляет чисто сыновние чувства. А по отношению к тебе... Ты сознаешь, что едва ли какая-нибудь другая женщина с большим правом могла бы утверждать, что на ней женятся по любви...

После первого порыва великодушия Моника стала раздумывать. Предложение Люсьена разбило все ее надежды на материальную независимость. Мысль, что в этот брак она уже не может внести ничего, кроме добрых намерений и страстной жажды труда, наполнила ее душу сожалением и ранила врожденную гордость. Но она была тронута деликатностью чувства Люсьена и благородством его жеста.

– Как это мило с его стороны, правда, мама? – спросила она г-жу Лербье.

– Можно мне вмешаться в ваш разговор? – спросила внимательно прислушивавшаяся тетя Сильвестра. – Я убеждена, что все, мной сказанное, на меня же и обрушится. Тем хуже! Я говорю, что думаю. Если не ошибаюсь, при основании вашего общества г-н Виньерэ должен был бы внести миллион?

Г-н Лербье нахмурил брови.

– Да. Так что же?

– Значит, отказываясь от пятисот тысяч франков, которые ему не принадлежат (потому что по брачному контракту Моника имущество супругов разделено), он на такую же сумму вносит меньше?

– Естественно.

– Это все, что мне хотелось знать.

– На что ты намекаешь? – воскликнула мадам Лербье.

– Ровно ни на что!.. Я констатирую только, что при нынешнем кризисе данная операция выгодна для всех вас.

– Каким образом? – спросила Моника.

– Во-первых, для твоего отца, которого это устраивает... Во-вторых, для твоего жениха, становящегося компаньоном за полцены и разыгрывающего великодушие за твой счет. Наконец, для тебя, так как тебя обходят с твоего же благословения...

Моника расхохоталась:

– Тетя отчасти права. В сущности, папа, в ваших расчетах никто из вас совершенно не принял во внимание меня. Это обидно!

Но Моника была счастлива той жертвой, которую могла принести любимым людям: одному – деньгами, другому – самолюбием. Счастье давать опьяняло ее, так же как и счастье получать. Она нетерпеливо ждала Люсьена, чтобы поблагодарить его и поддразнить. Но как он заставляет себя ждать!

Пробило десять.

– Он уже опоздал.

И тут же она вздрогнула.

– Вот он!..

Еще не было слышно шагов, но она уже ощущала магнетизм его присутствия и всем существом чувствовала его приближение... Звонок в передней. Наконец-то!

– Что я говорила?

Она открыла дверь гостиной и, взяв жениха за руку, сказала:

– Входите же. Хорошо, нечего сказать!..

Со смутным беспокойством он спросил:

– А в чем дело?

– Прежде всего вы опоздали. Затем, господин мой муж позволяет себе распоряжаться мной как вещью. Вы уже со мной не считаетесь? А если я потребую мое приданое?

Под ее насмешливым упреком он угадал радость подчинения и тотчас расцвел. Теперь все пойдет как по маслу...

Остается только злополучная Клео... Это будет похуже. Он старался под наигранной нежностью скрыть свое беспокойство. Моника целиком отдавалась восторгу своей экзотической любви. Люсьен в ее глазах был воплощением совершенной красоты и всех добродетелей. Она облекла его в образы, созданные ее же воображением. Доверчивая по природе, Моника легко переступала границы обыденного, но могла повернуть назад с той же стремительностью, с какой кидалась вперед...

Пока Лербье, делая вид, что интересуется безиком, усаживался между своей женой и теткой Сильвестрой, Моника и Люсьен перешли как всегда в маленькую гостиную, где они уединялись каждый вечер. Они сели рядом на большой диван – святилище счастливых минут, интимных бесед... и жгучих мгновений первых поцелуев, где она уже отдала ему всю душу раньше, чем тело.

Моника сжала руки Люсьена и заглянула в самую глубину его глаз.

– Любовь моя! Я должна вас попросить об одной вещи.

– Заранее согласен.

– Не шутите, это очень серьезно!

– Скажите же!

– Никогда, никогда не лгите мне!

Он почувал опасность и перешел в наступление:

– Вечный ваш пунктик! Знаете, это даже досадно.

– Не сердитесь, Люсьен. Моя вера в вас безгранична, и разочарование мне причинило бы страшную боль. Я вам уже говорила, что между любящими нет прощения только одному –

лжи... обману... Поймите же, что я называю «обманом». Можно простить поступок, о котором сожалеют и в котором раскаиваются, но нельзя простить лжи. Вот в чем настоящий обман. И это унизительно, это подло.

Он согласно кивнул головой и подумал: «Нужно быть настороже».

– Но простите меня, я сегодня немножко расстроена... Вернувшись домой, я получила анонимное письмо, о котором скажу вам только одно: я его сожгла и не поверила ни одному слову, написанному там.

Он нахмурил брови, но очень спокойно ответил:

– Напрасно вы сожгли эту гадость. Там могли быть интересные данные для разоблачения автора.

Она хлопнула себя по лбу:

– Так вы думаете, что оно написано мужчиной. Как я сама не догадалась!

Моника внутренне уже упрекала себя, что заподозрила месть женщины. В его поведении, а также в этом непредвиденном ею предположении было новое доказательство его невинности, в котором, впрочем, при своей доверчивости она, в сущности, не нуждалась.

– Что бы там ни было написано, – добавил он в заключение, – я думаю, мне не нужно уверять вас, что все это ложь...

Она нежно закрыла ему рот рукой.

– Я ни секунды и не верила.

Один за другим он целовал ее трепещущие пальцы и, успокоенный, подтвердил:

– Ведь я вам дал слово. С того дня, как мы стали называться женихом и невестой, я отдал вам взамен вашей руки преданное сердце. – Он понизил голос. – А после того, что произошло третьего дня... – и посмотрел на Моника загоревшимся взглядом.

Краснея и вздрагивая от воспоминаний, она положила голову на его сильное плечо, и оба они слились в едином желании...

Легкомысленно, без проблеска раскаяния Люсьен склонился к ее губам, раскрывшимся ему навстречу, как цветок, и запечатлел на них свою преступную клятву долгим и страстным поцелуем.

Тетя Сильвестра, не привыкшая к парижской суете, с беспокойством следила за быстрым ходом автомобиля, лавирующего между трамваями, автобусами и бесчисленными таксомоторами. Едва не задевший их автобус заставил ее невольно вскрикнуть: «Боже мой!»

Моника сжала ее руку.

– Не бойся! Мариус отличный шофер.

После вчерашнего объяснения улыбка не сходила с ее губ.

В то время как остаток ночи Люсьен проводил у любовницы, она спала беспечным детским сном и проснулась утром в безоблачном настроении. Предстоящий визит к профессору Виньябо ее радовал и забавлял. Ей было приятно сопровождать как старшая милую старушку, ее воспитательницу, которую годы в провинциальной глуши мало-помалу отдалили от жизни.

– Ты помнишь Елизавету Меер? – спросила Моника. – Лизу? Я встретила ее месяц назад – теперь леди Спрингфильд... У нее двое прелестных детей и муж – государственный деятель. Она стала теософкой и спириткой.

Тетя Сильвестра пожала плечами.

– Слишком приближаясь к Богу, уходишь от людей... Правда, она никогда их особенно и не любила.

Моника улыбнулась на это определение нового мистического увлечения Елизаветы Меер – леди Спрингфильд и по контрасту вспомнила ее младшего брата – красавца Сесия Меера – филантропа и художника-любителя.

– Сесиль, – это совершенная противоположность сестры. Тетя Сильвестра возмущалась:

– Тогда, помнишь, какая она была? И теперь... Болезнь какая-то, заблуждение! Старею я, что ли, или все в жизни пошло наыворот, но твой Париж меня ужасает. Ах, то ли дело мой тихий уголок! Но вот улица Медичи, 23/29. Мы приехали.

Моника радовалась встрече с профессором Виньябо почти так же, как тетя Сильвестра.

Старый холостяк – знаменитый историк, слава Французского коллежа – и скромная директриса пансиона с далеких студенческих дней в Латинском квартале поддерживали старинную дружбу. Мадемуазель Сильвестра любила иногда побыть в этой атмосфере здорового скепсиса и философских рассуждений. Обе весело поднимались на пятый этаж, выходящий окнами в Люксембургский сад.

Ветхая лестница, одностворчатая входная дверь, в передней пальто и шляпы учеников – все здесь говорило о жизни скромной, почти бедной. Моника и тетя Сильвестра обменялись сочувственной улыбкой. Они предпочитали эту благородную бедность тщеславной роскоши самых пышных дворцов.

– А, моя дорогая Сильвестра! – воскликнул профессор Виньябо, поправляя на своем сократовском черепе съехавшую от изумления шапочку. – Как я рад вас видеть! И вас тоже, мадемуазель... Позвольте вам представить... господин Режи Буассело, романист, господин Жорж Бланшэ – профессор философии в Кагоре, один из моих учеников.

И, теребя привычно-машинальным жестом свою бородку, точно вытягивая из нее нить своей речи, он продолжал говорить после обмена взаимными приветствиями.

– Я вам только что доказывал, насколько брак, принятый нашим буржуазным обществом, противен законам природы. Я прошу прощения у дам – мне нужно закончить разговор с господином Бланшэ, который советовался со мной по поводу его диссертации «О браке и полигамии», как раз на тему последней главы моей «Истории нравов», начатой до 1914 г. Эволюция семейных принципов. Мы спорили сейчас по поводу одной книги...

Он указал на груды томов, заглавие которых Моника прочла на корешках: «Женщина и половой вопрос» доктора Тулуза, «От любви к браку» Елены Кей и на книгу в желтой обложке – «О браке» Леона Блюма.

– Я читала ее, – сказала Моника, – в ней много справедливых, остроумных и даже глубоких идей, но...

Она почувствовала устремленные на нее взгляды троих мужчин: улыбающийся – профессора Виньябо, неприязненный – романиста и иронически вежливый – третьего гостя.

– Продолжайте, мы просим, – сказал г-н Виньябо со своим ласковым добродушием и, обратившись к Жоржу Бланшэ, добавил:

– Вот еще для вас неожиданный материал. Пользуйтесь, мой друг!

Моника поняла неловкость своего положения среди этих ученых-психологов, которые, не зная ее, инстинктивно уже вооружались против ее светской болтовни всеми мужскими предрассудками, подкрепленными к тому же убеждением в собственном превосходстве, и, несмотря на поощрения обоих профессоров, упрямо замолчала.

Жорж Бланшэ понял ее смущение и любезно поддержал:

– Но мадемуазель высказывает такие чувства, которые без большого труда можно угадать уже по ее колебаниям в желании высказаться. Вместе с Леоном Блюмом я утверждаю, что человечество, собственно, создано для полигамии. Под «полигамией» же, точно определяя значение этого термина, я разумею инстинкт, заставляющий мужчину искать сближения со многими женщинами одновременно или последовательно, а также и женщину – со многими мужчинами, прежде чем каждый из них остановится на своем избраннике.

Моника сделала протестующий жест. Пусть он говорит о себе или даже о большинстве ему подобных, но за исключением Люсьена.

Утверждать же, что женщина... она почувствовала себя униженной, приравненной к какой-нибудь Жинетте или Мишель.

Для всего ее существа, закаленного в спорте, с ясным умом, целомудрие было так же неотъемлемо, как белокурый нимб ее волос, и она осталась чистой даже после того объятия, которое ее сделало женщиной раньше, чем женой.

Жорж Бланшэ почувствовал, что он ей неприятен.

– Я спешу добавить, мадемуазель, – вежливо продолжал он, – что большинству женщин и всем тем молодым девушкам, которые не развращены до наступления половой зрелости, свойственно обратное чувство, вернее, инстинкт моногамии. Желая быть любимыми, они стремятся стать – или оставаться – единственной для одного мужчины.

Моника согласилась.

– Именно это вековое противоречие между женским идеалом и животной природой мужчины и породило вместе с половой анархией тенденцию к полигамии или, вернее, полиандрии, к которой, в свою очередь эволюционируя, стремится и женщина.

– Анархия, несомненно, вещь прискорбная, но роковая. Ваши заключения это подтверждают, дорогой учитель.

– Боюсь, что да, – вздохнул Виньябо. – По крайней мере пока новое воспитание...

Буассело пустил клуб дыма из своей коротенькой деревянной трубочки, которую с разрешения дам продолжал курить.

– Это холостой выстрел, – усмехнулся он. – Воспитание... Вы шутите. О нем еще, пожалуй, можно было говорить до войны, но с тех пор...

Воцарилось тяжелое молчание: жгучая память о гекатомбах и разрушениях.

– На что же тогда надеяться? – спросила Моника, заинтересованная этим неожиданным поворотом разговора. – Если мужчина – обладатель всех привилегий – находит, что все прекрасно под луной, что же, по-вашему, должна делать его ученица?

Буассело неопределенно пожал плечами. «Ученица превзошла учителя», – подумал он.

Он не забыл кошмарных лет на фронте. А что делали в это время маленькие «ученицы»? Вертели хвостом в тылу... Он свирепо затянулся трубкой и продолжал:

– Мадемуазель права. С точки зрения женщины, полигамия скорее рефлекс, чем инстинкт, больше следствие, чем причина. Рефлекс, вносящий дезорганизацию, следствие прискорбное, но, с точки зрения справедливости, мы не вправе запретить им действовать в этом направлении, тем более что приходится признать: брак – это одно, а любовь, то есть половой инстинкт – другое. Но я не знаю, могу ли я продолжать?..

– Говорите, – попросила Моника. – Я опасаясь некоторых идей, но вовсе не слов.

Он поклонился.

– Стремление сочетать брак и любовь – то же, что соединить воду с огнем, затишье с бурей. Иногда, конечно, брак и любовь могут совпасть, но редко, и во всяком случае, ненадолго.

– Покорно благодарю. И это вы говорите мне?! Я через две недели выхожу замуж за человека, которого люблю...

– Значит, вы будете одним из тех исключений, которые подтверждают правила... Но часто ли дафнисы и хлои превращались в филемонов и бавкид? Так редко! Или же после целого ряда отступлений.

– Что вы хотите этим сказать?

– А вот что: было бы справедливо и предусмотрительно, если бы молодым девушкам до брака в свою очередь позволяли вести жизнь холостых мужчин. Переболев этой болезнью роста, они становились бы идеальными женами.

Моника расхохоталась.

– К счастью, не все мужчины так полагают, а то я осталась бы в одиночестве.

– Но только таким образом мы окажем большую услугу обществу и к тому же отделаемся от чудовищного бремени – ревности. Разве не было бы прямой выгодой освободить любовь от маниакального взаимного чувства собственности, от претенциозного права на вечное обладание друг другом? Жениться будут лишь для того, чтобы счастливо дожить жизнь и иметь детей. Это разумнее всего!

– Любовь без ревности, – проворчал Режи Буассело, – это то же, что тело без души или ваш брак без любви. Какая-то комбинация удушливых газов – усталости и взаимного расчета. Небольшая заслуга оставаться друг подле друга только потому, что уже ноги не бегут...

Моника живо подтвердила:

– Брак г-на Бланшэ – это какая-то богадельня для калек.

– Извините меня, мадемуазель, – возразил профессор краснея, – что касается меня, я думаю, что истинный брак или, вернее, истинный союз возможен лишь тогда, когда есть любовь и до тех пор, пока она есть. Я утверждаю только, что союз этот будет иметь больше шансов на длительность, если мужчина и женщина вступят в него уже умудренные опытом. Для меня важна не форма, а сущность. Свободный союз привлекал бы меня так же, как и брак, если бы наши законы одинаково охраняли священные права детей.

Заговорил Виньябо:

– Теоретически, конечно, свободный союз – это лучшая форма единения, но Бланшэ прав: все дело в детях. Брак все же дает им гарантии, а при свободном союзе в настоящее время они неминуемо приносятся в жертву.

Буассело сейчас же на него напал:

– Так измените же ваши законы, потому что сейчас интересы отдельных индивидуумов идут вразрез с интересами государства, которое желает иметь как можно больше детей! – он подмигнул: – Для будущей войны...

– Но вы же знаете, – заметил Бланшэ, – что во Франции законы идут следом за нравами.

– Ну, если этого ждать, мы до тех пор все вырем!

Виньябо затеребил свою бородку:

– А Ренан, дорогой мой? Живые всегда идут вперед по мостам из мертвецов.

Наступило молчание. Тетушка Сильвестра прервала его первая:

– Система г-на Бланшэ не только не разрешает, но, наоборот, усложняет (по крайней мере до тех пор, пока государство не обновит своих законов) деликатную проблему детей.

– При дозволенной распущенности молодой девушки мы пришли бы просто к скотству.

– Извините, – возразил Виньябо, – к нему-то и приводит современная мораль, или, лучше сказать, нынешняя безнравственность. Если бы меньшее количество женских стремлений было спокон веков подавляемо, в мире оказалось бы больше полового равновесия...

– И, конечно, еще больше незаконных рождений и, следовательно, безвыходных положений. Вы не находите, что и так уже слишком много выкидышей и, во всяком случае, внебрачных детей?

Жорж Бланшэ улыбнулся.

– Конечно, мадам. Поэтому вы можете быть уверены, что, как бы это сказать... Эта эмансипация...

– Нет, – возразила Моника, – я тоже немного холостячка! Но могу вас уверить, что во мне нет ни одного из тех вожделений, о которых вы говорите.

– О, мадемуазель, холостячка будущего не будет похожа на нынешних, так же, как вы не похожи на вам подобных, живших двадцать лет тому назад. Подумайте, сколько коренных изменений происходит во всех областях на протяжении только одного поколения.

– Итак, завтрашня холостячка будет жить, как юноша, разве только ей придется немножко чаще посещать школу Мальтуса. Хотя ей там уж немногому придется доучиваться.

Рождаемость все понижается... И естественно... Скоро уже выведутся идиоты, у которых дети рождаются против их желания, и также не будут опасны соблазнительницы женщин.

– Но ведь вы конец мира пророчите, – воскликнула в ужасе тетя Сильвестра.

– Нет, мадам, конец только известного мира. Конец преступлений на почве страсти, конец лицемерия, предрассудков. Возврат к законам природы, которые современный брак не признает.

– Я надеюсь, – улыбнулась Моника, – что эту теорию вы вашим ученикам все-таки не преподаете? Разве как парадокс.

Она встала. Но, услышав, что Режи Буассело интересуется мнением Виньябо по поводу полового инстинкта, как он представлен в книге «Введение в психоанализ» профессора Фрейда, она стала слушать с любопытством.

И в то время, как старый учитель отвечал на вопрос, подчеркивая каждую фразу подергиванием бородки, она рассматривала этих трех мужчин, так не похожих на тех, кого она привыкла видеть.

Самым симпатичным из них был, конечно, Виньябо, несмотря на его слегка сутулую спину, маленькие ножки в слишком коротких неглаженных брюках и словно вырезанные из каштанового дерева угловатые черты.

В его глазах светилось столько ума и проницательности, в складке рта таилось столько снисходительного остроумия и чуткости, что он весь точно сиял изнутри.

Другой, этот Буассело, роман которого «Искренние сердца» – терпкий и волнующий – она вспомнила сейчас, мог высказывать сколько угодно прекрасных идей о ревности и браке. Они, конечно, соответствовали ее личным убеждениям, но даже за это Моника не могла простить ему такого полного отсутствия элегантности во всей наружности. Высокий, мускулистый, с узловатыми руками, со странными кошачьими глазами на изрытом морщинами лице, Режи Буассело производил впечатление хищника с удивительно нежным сердцем.

Добрый и интересный малый, ему можно симпатизировать – вот и все...

Что касается третьего оратора, маленького, сдержанного, с бритым лицом молодого епископа, то сквозь его профессорскую внешность Моника угадывала аффектацию уверенного в себе скептика.

Порядочный болтун этот Бланшэ! Может быть, в теории и великодушный, но красноречивый эгоист по существу.

Несмотря на идеи, которыми он жонглировал и которые, несмотря на ее протестующие ответы, часто совпадали с ее собственными, Моника находила неприличными и даже лично для себя оскорбительными его мнения о судьбе браков вообще и, в частности, о ее собственном.

Да, она будет исключением, как бы этот тип ни думал!

Несмотря на все свои ораторские ухищрения, он ее совершенно не разгадал.

Ах, с каким упорством, с каким напряжением воли она сумеет и создать и защитить свое счастье.

Моника вздрогнула. Виньябо неожиданно замолк.

– Значит, мне достаточно прочесть Жюлья Ромена, чтобы быть осведомленным насчет Фрейда? – спросил Буассело.

– Вы будете тогда знать о его «психоанализе» ровно столько же, сколько знаю я, или, яснее выражаясь, – обратился он к Монике, – об анализе психического содержимого в человеческом существе. Но какая же это клоака, друзья мои! Если верить по крайней мере г-ну профессору Фрейду, который, впрочем, со своей австрийской премудростью ничего нового не открыл... Такова уж их Цюрихская школа.

В науке и искусстве мы более приспособляемся, чем создаем.

– Вы всегда остаетесь самим собой, – сказала с восхищением тетя Сильвестра. – Прост – как все истинные ученые.

– Ну! Ну! Ну!..

Он утверждал, что без специализации даже величайшие умы расплываются в безбрежных сферах знания. Наше познание ограничивается только полем зрения нашего же микроскопа – и то еще до известного предела. Одни светские шалопаи да мишурные критики могут рассуждать о чем угодно: вчера о бергсонизме, завтра об энштейнизме. Однако он очень интересовался чужими трудами и ревностно пропагандировал при каждом удобном случае молодых.

– Ну, что ты по поводу всего этого думаешь? – спросила тетя Сильвестра, спускаясь по лестнице.

– Виньябо очарователен. Но другие...

– На тебя не угодишь, – проворчала старушка, забывая, что ее возрасту свойственны иные взгляды на жизнь. – Жорж Бланшэ тоже очень мил. Режи Буассело оригинален. Но сознайся по крайней мере, что мы прекрасно провели время. И подумать только, для скольких иностранцев да и парижан ничего не существует кроме Монмартра...

– Правда, этот холм загораживает от них Коллеж де Франс.

Занавес опустился после первого акта «Менэ».

– Очень мило, – безапелляционно изрекла мадам Лербье, поворачиваясь к дочери.

– Уф!.. – вздохнула Моника.

– В тебе вечный дух противоречия...

Она поправила на круглом плече соскользнувшую бретель.

– Сегодня избранная публика, – сказал г-н Лербье, наводя бинокль на зал. – Чувствуется сочельник.

Космо-театр, только что занятый иностранной опереткой, с оркестром в виде возвышающейся корзины, с ярусами открытых лож сверкал во всем своем великолепии. Парадный спектакль сочельника совпал с премьерой – Алекс Марли в роли Менелая. Мужчины во фраках, дамы в декольтированных платьях. Бриллианты и жемчуга, как капли росы, осыпали и юные и поблекшие женские тела, обнаженные в вырезах легких платьев от подмышек до пояса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.